

хорошо. И писать вам свою жизнь нельзя. Вы не знаете, что хорошо, что дурно. Вы, живущий добро и для добра, тужите, что в вас нет страстей — зла. Дай вам Бог пересилить всю нарочитую ложь ваших представлений — я снял часть этой коры и знаю отчасти толщину ее — и полюбить себя, вашу жизнь добра саму в себе, которую я люблю в вас, в себе, в Боге и которую одну можно любить и в которой одной можно жить». Не скрыл и личных чувств: «И ваше письмо очень опечалило и взволновало меня».¹³⁶

Страхов, вероятно уже раскаявшийся в том, что послал письмо-исповедь, с облегчением вздохнул — он так боялся, что Толстой отвернется от него, «гадкого», покинет его, а тут такой добрый и снисходительный ответ: «Вы пожалели обо мне, когда я попробовал открыть Вам гадости, которые у меня на душе. Вы видите, что я был прав, когда молчал, и сами советуете мне молчать. Но ведь жаловаться так приятно! Только прошу Вас, не отвертывайтесь от меня, не бросайте меня».¹³⁷

Страхов смущен и растерян, отчасти потому, что согласился исповедаться, но одновременно и удовлетворен: избавился от «печальных чувств», излил душу, тем самым очистив ее. Оправился от груза неожиданных признаний и Толстой, голос которого звучит ласковее и задушевнее. О болезни ни слова, и все сильнее проступает жалость к несчастному человеку: «Я рад был заглянуть вам в душу, так как вы открыли; но меня огорчило то, что вы так несчастливы, неспокойны. Я не ожидал этого. — И признаюсь, никак не могу помириться с мыслью, что вы не знаете, зачем вы живете и что хорошо и что дурно. Мне не только кажется, но я уверен, что Вы всё это на себя выдумываете. Вы не умели сказать то, что в вас, и вышло что-то непонятное». Как бы то ни было, но Толстой вновь отговаривает Страхова от автобиографических сочинений, настойчиво отговаривает: «Но писать свою жизнь вам нельзя. Вы не сумеете». И — что уж совсем удивительно — радуется тому, что Страхов пишет статью: «Вот это вы умеете».¹³⁸ Ранее Толстой все сожалел о газетно-журнальной работе Страхова, неодобрительно отзываясь о критиках и критике.

Страхов, вняв совету Толстого, отложил исповедальные признания в сторону — как выяснилось позднее, на время. Толстой действительно не напечатал свое «нехудожественное» сочинение, переработав несколько позднее первую главу в начало «Исповеди», чрезвычайно отличной от эпистолярной исповеди Страхова — и тем не менее сложным образом с ней связанный. Сравнительно спокойная реакция Толстого на «обличающее» Достоевского письмо Страхова становится понятна в контексте всего диалога между писателем и критиком. Наверняка в письме Страхова Толстой увидел еще одно и необыкновенно сильное проявление душевной болезни, которая лежит в «подноготной» его отречения от Достоевского.

Время от времени Страхов будет возвращаться к исповеди, напоминая о ней и ответах Толстого, дорожа возможностью посыпать ему своего рода духовные репортажи. Радостно пишет 4 мая 1881 года о хороших переменах: «Душа моя — в исправлении помаленьку моих недостатков, которых, как Вы знаете по моей исповеди, у меня много. Я чувствую, что понемногу наступает во мне мир, — и не могу Вам выразить, как отрадны мне даже неполные, временные ощущения этого мира».¹³⁹ Через несколько недель перемена к худшему, и Страхов пишет об этом Толстому (может быть, и для себя ставит вехи): «Нравственно за это время я тоже очень недоволен собою; были дни, когда я даже забывал обращаться лицом к тому идеалу, с которо-

¹³⁶ Там же. С. 547.

¹³⁷ Там же. С. 548.

¹³⁸ Там же. С. 550.

¹³⁹ Там же. С. 604.